

ЗАХАР
ПРИЛЕПИН

ЖИЗНЕЙ СЕМЬ

ШЕР АМИНЬ

Отец засобираля.

Он накручывал свой пушистый, колючий, разноцветный — что-то красное, жёлтое, коричневое, оранжевое, — шарф; тогда ещё не умели носить шарф по-французски, изящным узлом; отец носил шарф как русский интеллигент — чтоб было тепло, пышно, чтоб шарф заканчивался под верхней губой, и когда в него надышишь — там мокрая изморозь.

На отце была шуба; когда она висела отдельно — могла залаять; на отце — смирялась.

Я спросил: “Куда ты?” Отец с деланной беззаботностью сказал, что до магазина, за папиросами.

Бабука — моя бабушка, так её звали все — говорит, подтверждая: “В магазин ходит и вернётся”.

Хлопнула дверь, потом другая дверь. Ушёл.

Мы сели с бабукой и сидим, она на диване, я на полу. Она в очках, зашивает дедовскую рубашу, щурится на иголку, как бы раздумывая: стоит ли раздражаться на такую маленькую вещь или не стоит; я смотрю на бабуку, пытаюсь догадаться о чём-то огромном; мне, наверное, лет пять или меньше.

Ни одной мысли в моей голове не было, они и сейчас редко приходят, поэтому я просто вскочил и побежал. Даже не обулся.

Хотел написать, что осознал происходящее, — но всё это враньё, какое тут осознание, просто появилась картинка: отец стоит на дороге, голосует и курит; и вот уже едет в деревню, где наш семейный дом и где его ждёт жена — моя мать. Он разговаривает с водителем грузовика, они смеются, отец угощает водителя папиросой “Беломор”. Открывает окно — в щель рвётся небритый февральский сквозняк.

На улице был холод, много снега — в деревне снега всегда больше, чем в городе. Лес начинался сразу от наших ворот — а трасса лежала за лесом, в полукилометре. Бабука догнала меня, убежавшего, в лесу. Принесла в охапке домой.

Я не плакал и не отбивался. Поймали и поймали. Не судьба.

Бабука посадила меня на то же место, где я и сидел, взяла рубаху, на рубахе, скучая без дела, висела нитка с иголкой. Как будто ничего не случилось.

Представления не имею, зачем я побежал. Понятно, что за отцом.

Но я никогда особенно не скучал по родителям — если оставляли у стариков в гостях, жил как ни в чём не бывало.

Куда сорвался?

Наверное, отец должен был вернуться из своего февраля, взять меня на руки.

Потому что с тех пор всё не так.

В следующий слякотный февраль, в последние его дни, шёл по улице, тихий, светлый мальчик (я себя маленького люблю, как будто я тридцатилетней давности — это мой сын), — у нас в деревне жили хулиганы, фамилия Чебряковы, я их не различал, оба были длинные, с моластыми телами, шеи кадыкастые, лица вытянутые, тупые, подлые, — один из них толкнул меня в плечи, сзади, и я упал всем телом в ледяную грязь.

Грязь в нашей деревне была ужасная, сейчас такую не найдёшь — её варили как кашу, весной она лежала мелко покрошенная, перемешанная

со льдом, летом парила, осенью причавкивала. Не высыхала и не смерзалась никогда. Как будто внутри этой грязи тихо бурчал нефтяной родник, точнее сказать — гнойник.

Ровно к моему падению грязную лужу как следует раскатал деревенский трактор, чтоб стало сразу и пожиже, и погуще. Следом пробежала лошадь, оставила в этом месиве горячее воробьям и снегирям.

Туда и упал я.

Пришёл домой весь уделанный, как клоун.

Изо рта — грязь; постмодернист, словом.

Мать ничего не сказала — я надеялся, что она пойдёт и убьёт Чебряковых, а она просто умыла меня. Всё сняла, дала чистое.

Следующий раз — ещё через год, опять февраль. Играли за школой в футбол — у нас любили играть в футбол зимой, лето короткое, пока его дождётся, а мяч лежит вот, ждёт пинка. Я был в трёх драных свитерах и без шапки: это придавало мне, как я сам думал, лихости. Команды были смешанные по возрасту. К противникам присоединился — не помню как зовут — только что вернулся из армии — белёсый чёрт с белёсыми ресницами, смешливый. Я торчал у ворот. Белёсый играл весело, ловко, вскоре засадил мячом — попало мне в лицо, я сделал — безо всякого преувеличения — два оборота

в воздухе, упал; глаз словно бы ввернулся внутрь головы — я потом бережно извлекал наружу, обратно, в белый свет напуганными пальцами веко, ресницы: глаз казался каким-то мясным, слишком объёмным, похожим по ощущению в пальцах на пиявку.

Если б я стоял возле штанги — ударился бы головой об неё и умер.

С коллективными играми у меня не задалось.

Из деревни меня извлекли, как птенца из гнезда, поселили у фабричной трубы: семья решила, что пережить смерть советской власти лучше стоя на городском асфальте.

В новую школу впервые пришёл зимой, в феврале.

У школы стоял бугай из параллельного класса — выше меня на голову, девятилетнее животное. Снял с меня шапку и бросил далеко. Я полез за его шапкой, отомстить, но он легко оттолкнул меня. Силы были не равны.

Я ходил за ним на переменке, думал: надо изловчиться и ударить, но не хватило духа.

В новой школе была учительница, классный руководитель, сталинистка, рябая, костлявая, едкая на язык.

Началась *perestroika*, она решила, что необходима демократизация, провела опрос, кто как к ней относится в классе, — анонимно.

Мой сосед по парте Чибисов написал, что учительница — сволочь.

Я написал, что претензий не имею.

Следующий, через день, опрос был уже не анонимный, а за подписями.

Собирая наши ответы, рябая ехидно глянула на меня поверх своих огромных очков и, не сдержавшись, сообщила: “Посмотрим, что ты здесь написал, иудушка”.

Четыре года после этого она разговаривала со мной совершенно по-скотски, я ничего не понимал, терпел.

Однажды мыл класс после уроков — у рябой уже который год не прекращался мстительный зуд, она опять подняла эту тему: какой я ничтожный, лживый, как же я могу жить такой, почему меня носит земля, не должна бы.

Я уже попрос и нашёл в себе смелость вяло поинтересоваться, в чём дело.

А помнишь, говорит, опрос. В анонимном ты написал, что я сволочь, а за подписью — что нет, что не сволочь; вывод: ты врун, в разведку с тобой нельзя.

Я говорю: покажите опросный лист. У неё был наготове (хранила все эти годы в особой тетрадке, носила с собой, чтоб подогревать мстительность): смотри — взмахнула листками, как факир: сейчас будет номер.

Увидев листы, я взвыл — благо, Чибисов уже года три как учился в другой школе, — это не я! Это Чибисов написал!

Она, смешавшись, тут же сказала: “...ты наговоришь мне сейчас!” — и опросники убрала. Извиниться, естественно, не посчитала нужным. Некоторое время смотрела в окно, на подтаивающий снег, — думала, видимо, не было ли ошибки в её многолетнем издевательстве над ребёнком. Сделала твёрдый вывод, что нет. Кто старое помянет, решила по-взрослому, мудро, тому глаз вон.

Это ещё что.

Девушки у меня были, но чаще не было.

Я всё время помню, что девушки нет, есть только головокружение и подростковая тошнота.

Возвращались пьяные откуда-то с вечеринки в честь старого Нового года, вызвались проводить двух дам — я и двое моих собутыльников, их лица уплыли, не вернуть уже ни одной черты.

Я оказался самый разговорчивый, изо всех сил старался веселить компанию: компания время от времени хмыкала.

Одна, вроде симпатичная, дала телефон, я попросил.

Позвонил уже в феврале, что-то ныл о желанной встрече, она поддерживала разговор так, словно у неё стреляла простуда в ухе — через

муку, сквозь сжатые зубы. Потом там кто-то зашумел поблизости, послышался мужской голос, она вдруг говорит шёпотом: “Оставь меня в покое, отвянь наконец, чего тебе надо вообще?”

Как будто я сидел на промокшей колоде в воде, в грозовом море, под снегом, падающим ледяной грязью в чёрные волны, хотел выбраться на берег, смотрел на эту девушку снизу вверх, а она оттолкнула ногой мою колоду: плыви, куда хочешь, на берег не лезь, тут и без тебя, знаешь... Плыви, кому говорю!

Прошло двадцать лет, она, наверное, сейчас приготовила борщ мужу — живёт как ни в чём не бывало, всё забыла, — так пусть он немедленно ударит рукой о край тарелки — чтоб тарелка сделала в воздухе круг, и капуста на потолок, на люстру, всё вокруг в кипятке, в детском ужасе, — а он, этот муж, как заорёт: “Сука! Какого чёрта я связался с тобой!”

Кто-то должен за меня отомстить, наконец.

Она бы поняла, что тогда, невинный и озябший, испытал я.

...но нет, муж доест, ничего не скажет, будет прятать в себе самое важное.

В армии, уже став черпаком, я один раз напился — не пропалился на построении, ловко миновал все возможные угрозы, добрался до своей койки, улёгся.

У такого же черпака, как я, с моего же отделения, был фотоаппарат, и он решил сделать на память мою фотографию: сослуживец во сне.

Затая быстро превратилась в общественное мероприятие: нашли свечу, вставили мне, слава богу, в руки — а руки скрестили. Свечку зажгли, получилось красиво.

Простынку натянули как надо, нарисовали на лбу крест, устав положили на грудь, потом ещё стопку уставов — предполагалось, что теперь у меня будет много времени на чтение; на ноги натянули сапоги 47-го размера: покойник был благоденствен, добросердечен, ногаст.

Сделали пышный венок из веника в голове.

Решили, что одной свечки мало, вставили сразу три в руки: а чем покойник хуже торта — разве поминки не праздник? Тоже наливают, зимние салатики, плясать только нельзя, зато петь, вроде, можно.

Духов не отгоняли, душары тоже веселились.

Решили, что если рядом положить швабру — будет уместно: шваброй я сумею запугать чертей, если соберутся к покойнику в гости.

Тарелку, ложку — тоже на всякий случай подложили ко мне: допустим, черви меня жрут, а я червей, — взаимный обмен. Так можно долго развлекаться — кто кого доест первым.

Под крестом на лбу написали фломастером смешное слово из пяти букв: аминь.

Моё светлое мужское солдатское имя, отвоёванное с такими боями, с такими понтами, с такой смекалкой, со всем тем, что я накопил за девятнадцать лет, — всё пошло к чёрту.

Фотографии распечатали, суки, денег не пожалели, их увидели все.

Каждый мой шаг, когда я шёл до столовой, в наряд, куда угодно, сопровождали незримые улыбки: паси, этот идёт, со свечкой и шваброй, торт из покойницкой, черпак, который аминь.

(В тот февраль я чуть не замёрз в наряде — жить было лень.)

“Шер аминь” прозвал меня мой самый близкий, да что там — единственный товарищ, ботаник, французский учил в школе, я его столько раз выручал, его убили бы без меня — но в этот раз я сам зазвездил ему в зубы, было много крови, зуб потом лежал на столе в столовке, в луже шей, как забытый. Я подумал: может, забрать, как-то вернуть его, приделать на место: всё можно как-то изменить.

(...потом мне сказали, что свечу мне деда хотели в рот засунуть, для красоты, а ботаник не дал.)

Ничего было уже не исправить.

Свою подругу я приютил пожить в квартирке, которая осталась у моей семьи после многочисленных разменов.

Маме она нравилась — мама ей доверяла.

Мать прожила целую жизнь с моим отцом, ей и в голову не приходило, что женщина, у которой было больше мужчин, чем пальцев на одной руке, может называться как-то иначе, чем “проститутка”.

Тем более, кто может изменить её сыну — этому идеальному воплощению ума, такта, красоты, мужества. Ну, то есть, этому иуде, этому шер аминю, с неизменной грязью во рту, который отыгрывается на слабых, врёт, юлит, унижается, перекладывает ответственность, не желает ничего знать, рассматривает себя в зеркале, любит парадкой — балабол, понтарь, выкобенщик.

Я дембельнулся, подружка не встречала, отдыхала у своей бабушки — разве бабушку оставишь, я понимаю. Приехала через неделю, вся такая улыбчивая, тихоголосая, ведёт себя так, как будто её завернули в целлофан. В щёку поцелуешь — вроде, кожа, вроде, духи, — а всё равно ощущение — целлофан.

Вечером весь целлофан снял, слоями, кое-где налипло, пришлось повозиться. Свет попросила не включать — ищи в темноте, вглядывайся,